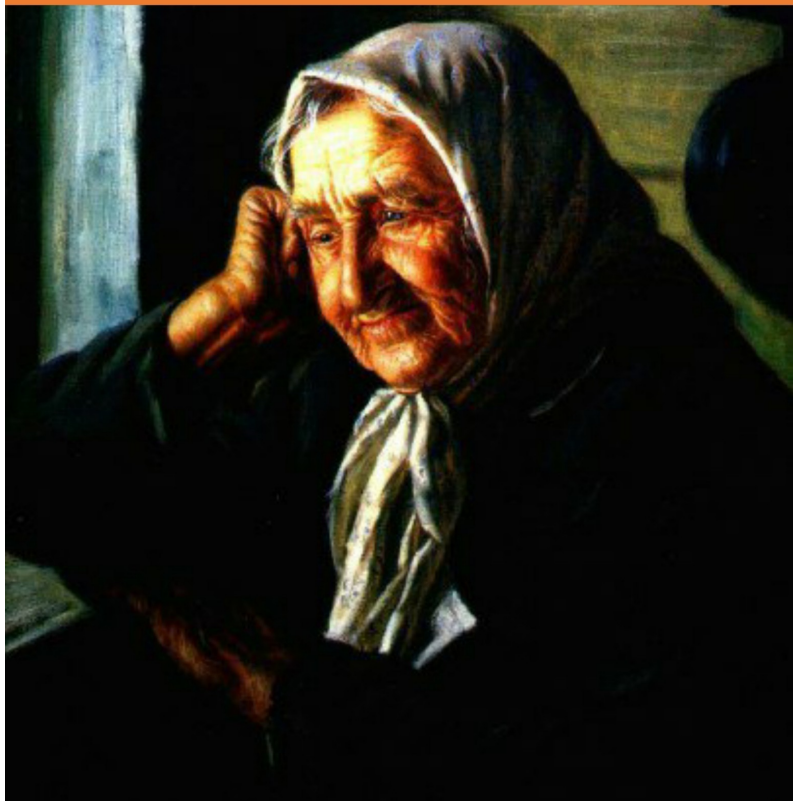


Наталья Рудой

Мать



Наталья Рудой

Мать

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29946969

SelfPub; 2018

Аннотация

Рассказ об одном дне старушки-матери, вместившем в себя всю жизнь. Авторство изображения на обложке: А. Шилов.

Баба Маня, женщина восьмидесяти пяти лет с морщинистым оплывшим от старости лицом, обрамлѐнным седыми волосами, виднеющимися из-под белого платка с цветами, сидела, оперевшись локтями на обеденный стол, застеленный клеѐнкой с синими и жѐлтыми цветами, и смотрела в окно. Она всматривалась в даль, за поле, туда, где в километре от её дома на остановку должен был с минуты на минуту подойти автобус, на котором из города обещался приехать её сын Митька. На столе стояла тарелка с горячими толстыми оладьями и миска с толчѐной свежей клубникой – любимое лакомство сына ещё с детства.

«А на обед котлеты пожарю. Или мясо потушу с картошкой. Спрошу у него, что лучше. Скажу: «На обед что готовить?», а он ответит: «Что хочешь». Тогда скажу: котлеты пожарить или мясо потушить?» Наверное, мясо захочет. Или котлеты», – думала она, пока пыталась разглядеть чѐрные точки, появившиеся на дороге в конце поля.

Дом бабы Мани стоял практически на краю небольшой деревушки, вытянувшейся вдоль узенькой неглубокой речки Колушки. За полосой домов, стоящих на берегу, начиналось поле, которое в этом году было засеяно овсом. Зелѐный бархат молодой травы по диагонали пересекала тѐмно-коричневая полоса дороги, ведущей к асфальтированной трассе.

Закрыв один глаз, который практически не видел, чтобы лучше было видно тем, на котором недавно сделали операцию и который теперь видел лучше, чем тридцать лет назад,

баба Маня всматривалась в поле, туда, где точки, увеличившись в размерах, превратились уже в три фигуры. Два человека шли впереди вместе, это точно не мог быть Митька, а третий шёл шагах в тридцати позади пары. Походку сына, чуть подпрыгивающую, с широким шагом, мать узнала бы из миллиона других. Но мужчина, идущий от остановки, шёл медленно, осторожно ставя ноги. «Не он», – мелькнуло в голове старушки.

Пара, идущая впереди, свернула с поля к дому ещё в середине деревни, а мужчина, шедший сзади, подошёл практически к дому бабы Мани и свернул на свой огород, к дому. Баба Маня видела, что это был сосед, Витька Карасёв. Видела она и то, что по полю больше никто не шёл, а, значит, Митька не приехал. Следующий автобус должен был прийти через два часа. Баба Маня, оперевшись о стол руками, подняла своё тяжёлое тело со стула, и, переждав привычное уже потемнение в глазах от смены позы, накрыла полотенцем оладьи, привычным движением поправила платок и медленно двинулась в комнату.

Дом, в котором жила Марья Осиповна уже не меньше тридцати лет, был куплен ею с мужем, когда они оба вышли на пенсию. С тех пор они больше не переезжали и жили в деревне практически без выезда. Дому было уже лет сто, эта была обычная русская изба с кухней и большой, наполовину разделённой перегородкой, комнатой. В лучшие годы, когда вся семья, с детьми, с внуками, человек по двенадцать, соби-

ралась здесь, места хватало всем. Поэтому и мебель в доме состояла, в основном, из кроватей – чтобы всем гостям всегда хватало спальных мест. Кровати, кушетки, диваны, оттоманки стояли по стенам комнаты и лишь при входе в углу Митькой был сделан стеллаж – деревянные полки, закрытые занавеской, к которому прислонялся старый лакированный шкаф с кривыми дверцами. И в этой же половине комнаты, между двумя окнами, стоял стол с телевизором.

Теперь кровати в таком количестве были уже не нужны: мужа не стало уже десять лет назад; дочь, приезжавшая каждую неделю, чтобы привезти продукты, никогда не оставалась на ночлег; внуки бывали редко. Дом пришёл в запустение. Многие кровати в дальней половине комнаты были завалены всяким хламом, который везли из города: старой детской одеждой, игрушками, одеялами, даже детской мебелью – при виде которого Марья Ивановна чувствовала себя уже не хозяйкой в своём доме.

Баба Маня села на стул, стоящий перед телевизором, так и не включив его и задумавшись о своём. «Всё из-за Таньки. Она его в городе держит», – думала она. Танька была сожительница сына. Лет десять назад из-за его буйных, скандальных пьянок от него ушла жена, Митька несколько раз пытался завести новую семью. Но с непьющими домашними женщинами он надолго не задерживался, да и они, пару раз увидев его с оплывшим лицом, услышав несмолкаемую грязь о всех тех, кто его окружал, оставляли его, предпочитая жить в

одинокости, чем с теми демонами, которые тихо существовали в Митьке, пока он был трезвый, и вылетали наружу на спиртовых парах. С Татьяной, с которой он познакомился в каком-то притоне, Дмитрий жил последние четыре года. Всё это время прошло для него в зверском, алкогольном угаре с голодом, драками, спиртом, купленным в том же подъезде; в квартире без света, отключенным за неуплату, с какими-то подобранными грязными собаками, такими же голодными и злыми, как те, кто их приютил. Дети, как и все родственники, оставили его, каждый жил своей жизнью, и единственный человек, у которого не переставала болеть душа о нём, была его мать. К ней он, худой, с вечно зажатой в сутулости спине, с трясущимися руками, постоянно перебирающими что-то пальцами, приезжал отдохнуть от той грязи, в которой жил в городе и которая, как болото, затягивала его с каждым годом всё глубже.

До пенсии ему оставался ещё год, работал он не дольше двух недель в полгода: как только получал аванс, сразу уходил в запой и не выходил из него месяцами. Поэтому к матери Митька чаще всего приезжал тогда, когда совсем нечего было есть. Мать пару дней откармливала сына, отпаривала в бане, и после этого, когда он уходил, смотрела в окно ему вслед, когда он, с полными сумками огородных припасов и значительной частью тех продуктов, которые привозила Марье Осиповне дочь, шёл по полю от неё.

Входная дверь скрипнула, и баба Маня вздрогнула. «Митька», – пронеслось в голове, но в ту же секунду она услышала знакомый старчески-ослабленный голос Полины, своей подруги, которая жила в паре домов от неё.

– Можно? – и, по деревенскому обычаю, не дождавшись ответа, маленькая ссохшаяся фигурка бабы Поли ступила на кухню, служившую у дверей коридором.

Марья Осиповна поднялась со стула, пошла навстречу гостю. Разочарование от того, что гость этот был не тот, кого она ожидала, быстро сменилось мыслью, что с Полиной не так тяжело пройдут ближайшие полчаса ожидания.

– Заходи, заходи, – отозвалась Марья Осиповна, и Полина мелкими медленными шажками, не отрывая ног от пола, зашаркала к большому столу у окна, за которым полчаса назад сидела хозяйка дома, которая, обогнав гостью, уже снимала полотенце с оладий. – Чай будешь?

Бабе Мане приходилось громко, почти крича, говорить с подругой, которая практически полностью была глуха.

– Можно, Марьюшка.

– Вот. Напекла Митьке. Обещал сегодня на десять часов приехать.

– Сегодня? – баба Поля из всего сказанного услышала только «Митька» и «обещал».

– Да, на десять часов обещал. – ещё громче прокричала баба Маня.

– А, на десять. Может, проспал? Сейчас на двенадцать, наверное, придет. А у меня Нинка за продуктами в Бор ушла.

Дальше разговор зашёл о привычном: о дочери бабы Поли, которая жила в деревне с матерью уже на пенсии, взяв на себя роль хозяйки в доме. Советов от мамы она не слушала, пользовалась новыми удобрениями, теплицу поставила в огороде из пластика, а газон косила машинкой. Баба Поля уже почти смирилась со своей ролью тихо доживающего свои дни человека, и не раз уже столкнувшись с тем, что её слабая, отжившая своё помощь вызывала только раздражение дочери, теперь старалась только никому не мешать, чувствуя себя уже лишней среди здоровой молодой жизни, и всё чаще скрываясь у соседок-ровестниц.

Баба Маня слушала тихий говор впалого рта соседки, и лишь изредка вставляла громкие фразы, которые Полина, вероятно, не слышала, про свои помидоры, или про укроп, разросшийся в этом году по всему огороду.

Время подходило к одиннадцати, когда Полина, медленно переставляя ноги, пошла к дверям. До приезда автобуса ещё оставался час. Баба Маня переобулась в резиновые сапоги, накинула тонкую летнюю куртку, и, вслед за Полиной, вышла в коридор. Погода благоволила сегодня к работе на огороде: дождя не было, но не было и изнуряющей, не дающей шагу шагнуть, жары. Солнце было за плотными облаками, и

на улице было тепло и свежо. Баба Маня вышла на крыльцо, и взяв с краю одну из обтёсанных палок, приготовленных Митькой, и служивших ей тростью, пошла, опираясь на неё, в пестрящий зеленью огород.

Подолгу работать уже не получалось – здоровье не позволяло: суставы болели, и давление подскакивало от работы внаклонку. Прополов небольшую грядку с луком, баба Маня присела отдышаться на маленькую скамеечку, прислонённую к стене пустого теперь хлева. Осматривая огород с мыслями о том, что надо сделать в первую очередь, взгляд бабы Мани зацепился за заросшее местечко под кустом крыжовника. В своё время сын сделал на этом месте грядку, «грядку-барыню», как она её называла. Четверо младших внуков в те времена жили здесь, у неё в деревне, все летние каникулы, а их матери, дочь и невестка, приезжали на выходные. Целые дни они проводили на огороде, но ни разу у них не получилось сделать такую грядку, какую сделал сын, один раз взявшись за лопату. Гряда вышла ровным прямоугольником, как по линейке мерена, высокая, с глубокими ручьями, с рыхлой, как просеянной, землёй без комков. Марья Осиповна в то лето всем показывала эту грядку-барыню, да и потом ни раз вспоминала её, как одно из доказательств золотых рук сына.

На душе бабы Мани, при воспоминании о молодом, здоровом сыне, и от того, что с минуты на минуту должен приехать автобус с ним, потеплело. Она поднялась со скамейки и, убрав инструменты, пошла в дом.

Митька не приехал и на двенадцать.

Пока Марья Осиповна готовила обед, постоянно посматривая в окно, и пока, так и не дождавшись сына, обедала, образы прошлого, затронутые воспоминаниями о молодом сыне, витали в голове, напоминая один о другом: грядка-барыня напомнила то, как её полола после невестка, которую терпеть не могла Марья Осиповна за то, что та не любила сына так, как любила его она; воспоминания о невестке напомнили о внуках, внуки – о собаке, которую они притащили в дом и скрывали в подвале несколько дней, с собакой вспомнилось то, как Митька раньше любил ходить в лес и на рыбалку в компании этого подросткового и обожающего своего хозяина пса.

Даже сосед, который зашёл, чтобы помочь принести дров из поленницы и воды, принёс с собой воспоминания о том, как он восемнадцать лет назад впервые появился в деревне, купив рядом с их домом участок.

– А ты постарел, Виктор! – баба Маня всегда говорила громко и с выражением, как комсомолка на партсобрании.

Виктор, который привык за все годы соседства к грубоватой, отдающей советскими фильмами шестидесятых годов, манере общения бабы Мани, усмехнулся:

– Ну так, никто не молодеет.

– Даа! Никто не молодеет, – повторила баба Маня, внимательно разглядывая Виктора и многозначительно кивая. – Давно ли ты спрашивал меня: «Ты что же это, внуков штуками считаешь?», – баба Маня грустно улыбнулась.

Эту историю баба Маня часто напоминала Виктору. Он тогда только переехал в деревню, и увидев ораву детей у неё во дворе, спросил, сколько же у неё внуков, и услышав в ответ гордое: «Шесть штук!» удивился единицам измерения детей. Именно это его удивление и фраза «внуков штуками считаешь» каждый раз, при воспоминании, заставляли бабу Маню улыбаться.

Виктор улыбнулся в ответ.

– Митьку не видел в городе? – дочь Виктора жила в одном дворе с Митькой, и сосед иногда, когда бывал в городе, встречал его.

– Нет. А что, когда обещал приехать?

– Так ведь сегодня обещал, на девять часов. А вот до сих пор нет, – баба Маня выразительно кивнула головой, как бы говоря «Вот так-то!».

– Ну так, приедет ещё, куда денется, – Виктору всегда было неловко, когда баба Маня жаловалась ему на сына. Он знал, какой образ жизни ведёт Митька, мысленно и вслух, при нём, осуждал его, поэтому слов утешения для соседки он никогда не мог найти.

– А кто его знает? – Баба Маня задумалась и, как бы найдя новую претензию к нему, Виктору, за отсутствие сочувствия,

укоризненно сказала. – Баню ведь ещё топить сегодня!

– Даа! – многозначительно протянул сосед, не глядя в лицо соседке и избегая её твёрдого, прямого взгляда.

Виктор посидел ещё пару минут, и, попрощавшись, ушёл, а баба Маня, понимая, что, если Митька не приехал до обеда, то ждать его сегодня нет смысла, сама занялась растопкой бани. Дело это было нехитрое: воду ей набирал сосед, у которого к своей бане, стоящей в десяти шагах от бани бабы Мани, был подведён шланг от электронасоса, а дрова лежали тут же, в маленькой поленнице, прислонённой к стене и накрытой брезентом. Самая большая сложность была растопить внаклонку печь и раз в полчаса ходить от дома, который находился на возвышении от бани, и обратно, чтобы подложить дрова в жаркой парилке. После каждого такого похода приходилось отдыхать, лёжа на кушетке и выжидая, пока успокоится сердце.

Баба Маня рассчитала последний раз подложить дрова так, чтобы к четырём часам вернуться в дом. Около четырёх приходил автобус, на который у неё оставалась ещё последняя, призрачная надежда. Был потом автобус ещё и в восемь вечера, но так поздно сын никогда не приезжал.

Марья Осиповна представила, как сыну будет приятно, когда он приедет и увидит, что баня уже истоплена, как он скажет, что сам бы затопил, а она ответит «Тебя разве дождёшься?». Но баба Маня не разрешала этим приятным мыслям развиваться, боясь разочароваться, когда этого не

случиться. Она налила себе чай, села у окна и лишь через час с уставшими смотреть в пустое поле глазами и сжатым сердцем встала и медленно пошла за полотенцем и чистым бельём, чтобы идти в баню.

* * *

Солнце уже опускалось, желая прилечь на ковёр зелёного овса на поле, и на улице начинался свежий летний вечер, пышущий своей яркой сочной жизнью зелёной травы и щебета птиц, когда баба Маня пришла из бани, развесила полотенце и мокрое чистое бельё на верёвки и прилегла отдохнуть.

Весь этот день, как и многие другие, прошлое развлекало её одиночество, в красках показывая то, что было и то, что могло быть и то, что только казалось, что было. Как телевизор, баба Маня смотрела на картины из своей жизни, на героев, главных и второстепенных, которые составляли эти картины. Были здесь многие: соседи по коммунальной квартире, фашисты с автоматами, которых маленькая Маша видела в детстве у себя в деревне, белорусские родственники мужа, проказники-внуки, собаки и козы, весенние берёзы с сочащимся соком. Но все эти воспоминания были как бы основой, задним фоном для главных, которые единственные по настоящему трогали душу.

Маленькая Маша росла в семье, в которой было шестеро детей. Она была четвёртым ребёнком, и всегда была где-

то посередине, незамеченная родителями в ласке, но несшая ответственность за младших. Растили её в строгости, отец ей говорил, что, натвори что младшие, будет бита она, как старшая над ними. И не раз он исполнял угрозу, после чего Маша, в слезах, лежала на сундуке в углу комнаты, и смотрела из-за занавески нахмуренным взглядом волчонка, каждый раз надеясь, что её мама, её мамуша, как она называла маму до конца своих дней, придёт пожалеть её. Но мать, задёрганная, уставшая, разрывающаяся между колхозом и домом, не подходила, считая слёзы ребёнка одной из мер правильного, строгого воспитания. И самым тёплым воспоминанием, оставшимся у Маши из детства, остался момент, когда она, уже первоклассница, долго не могла застегнуть тугую верхнюю пуговичку на пальто, и мама, стиравшая в это время, лишь отряхнув руки от пены, подошла ей помочь. И, пока мама пыталась продеть выскальзывающую пуговицу в узкую петлю, Маша смотрела на мамины влажные мягкие руки, пахнущие мылом, и не могла оторваться. Ей так хотелось в этот момент взять её ладони в свои руки, прижаться к ним, посмотреть маме в лицо и сказать ей «мамуша». Так жаждала Маша этой первой в её памяти близости, так хотела продолжить её. Но так и не решилась. Ласка так и не прорвалась, не желая вылиться в мир, в котором она могла быть растоптана и испачкана, а осталась в душе девочки, заколоченная, ссохшаяся, заставляющая нежного ребёнка превращаться в строгую, хмурую женщину, не умеющую любить.

С мужем, разгульным весельчаком, шабашником, судьба связала сдержанную холодную Марью уже когда она и не рассчитывала выйти замуж, в двадцать пять лет. Марья не любила мужа, презирала его образ жизни, но родители, тяготившиеся тем, что дочь рискует стать старой девой, чуть не насильно выдали её замуж. Марья рассчитывала на то, что со временем она привыкнет к Валентину и он станет ей ближе, но этого не случилось, и с каждым годом, видя насытившееся его к ней равнодушие, его загулы в холостых компаниях, а, главное – ощущая периодически запах перегара от него после работы, Марья начинала испытывать к нему отвращение, постепенно перерождавшееся в ненависть.

Дочь родилась на следующий год после свадьбы, но, с самого рождения была похожа на отца в привычках, в свободе общения со сверстниками, в смешливости и лёгкости характера. Марья Осиповна, вместе со своеобразной любовью, больше похожей на ответственность за ребёнка, испытывала и что-то вроде зависти к дочери, когда видела, как просто та сходится с людьми, сколько внимания уделяют маленькой девочке. Мать пыталась строжить дочь, внушая ей всем известные истины про смех без причины и про скромность, украшающую человека, но Настя росла бойким жизнерадостным ребёнком, так не похожим на мать.

Сын родился через два года после дочери, и сначала вызвал то же чувство ответственности и трудностей, как и Настя. Но уже с первых шагов, с первых слов сына, когда он, прячась за мать, отказывался подходить к людям, признавая только её, в груди Марьи начинало разливаться тепло, которое с годами становилось всё сильнее. В сыне Марья всё чаще узнавала себя, понимая и сочувствуя всему, что с ним происходит. У матери разрывалось сердце, когда она видела, как сын, поссорившись с другом, несколько дней бродил по двору один, так и не сумев найти себе другую компанию, или когда Митя первый раз пришёл из школы с разбитым носом, весь в слезах.

Со временем Марья Осиповна стала понимать, что её привязанность к сыну, отдающая сжатым дыханием нежности буквально при каждом взгляде на него, не только не уменьшилась, но с каждым годом становилась всё сильнее. Эта привязанность, это постоянное беспокойство за него, подсказывали матери, что сына надо держать под строгим контролем. Учился он плохо, но это не столько волновало мать. Больше она тревожилась за то, чтобы он не связался с плохой компанией, не пошёл по стопам отца, начав пить. Поэтому за те редкие дни, когда Митя опаздывал из школы или вечером загуливался с приятелем допоздна, он бывал строго наказан. Однажды даже, когда Мите было лет пятнадцать, заметив его в компании старших парней, которые частенько по вечерам уже устраивали попойки во дворе с песнями

под гитару, Мария Ивановна протащила отбивающегося покрасневшего сына за шиворот всю дорогу до самого дома под дружный хохот оставшихся позади парней. Но такие крайние меры применять приходилось редко. Кроме плохих отметок, сын редко расстраивал мать своим поведением. Он всегда выполнял всё, что от него требовалось по дому, был спокойный, нешумный, даже молчаливый мальчик, в отличие от своей сестры, которая не могла и вечер посидеть дома. Даже в те дни, когда он бывал наказан, он не кричал, не ревел, как другие дети, которых, как считала Марья, родители слишком распустили, а сдерживал себя и, не проронив ни слезинки, ни звука, уходил в дальний угол квартиры, и сидел там, тяжело дыша, уставившись в одну точку.

Когда, лет в шестнадцать, сын первый раз пришёл домой пьяным, мать не спала почти всю ночь. Для Марьи Ивановны вид заплывших глаз и шатающейся походки сына был сродни грома среди ясного неба. Она никак не могла ожидать, что её Митя, её сынок, который столько раз видел отца пьяным, хоть раз в жизни захочет попробовать эту гадость. В этот вечер Митька болтал без перерыва и чему-то всё время смеялся, а на следующий вечер был жестоко выпорот ремнём, после чего сидел на углу своей кровати со сжатыми челюстями и смотрел в одну точку.

Так проходила вся жизнь сына: друзей у него практически не было, потому что трезвого его никто не замечал, даже в компании близких ему людей он мог сидеть часами,

как тень, молчаливый и незаметный для окружающих. Комфортно чувствовал он себя только выпив. Тогда все зажими проходили сами собой, плечи, всегда чуть ссутуленные, распрямлялись, голос становился уверенным, и все те мысли и эмоции, которые копились за время трезвых дней, выливались на первого попавшегося собеседника, не зависимо от того, насколько ему или ей интересно было его слушать.

С будущей женой Митька, который к двадцати годам превратился в красивого высокого голубоглазого bruneta, познакомился тоже после алкогольных посиделок со своим другом, поэтому произвёл полное впечатление уверенного разговорчивого парня. С Надей ему всегда было легко, даже тогда, когда она узнала его трезвым. Она любила поговорить, поэтому на его долю, пока он не привык к ней настолько, что и трезвый чувствовал себя с ней в своей тарелке, приходилось только слушать, что он делала с удовольствием.

Но семейная жизнь не задалась: Надя, умница, отличница, получившая уже в декрете красный диплом в техническом университете и работавшая преподавателем, быстро поняла, что слесарь Митька, не знающий даже таблицы умножения, ей не пара. Интересов общих у них не было, и быстро прогоревшая влюблённость ни во что, кроме необходимости жить вместе из-за детей, не переросла. Митька чувствовал эту не только нелюбовь, но и неуважение сначала жены, а потом и детей, к которым он, как к единственным близким людям, кроме матери, был привязан, как собака, которую пинают и

плохо кормят, всё равно остаётся привязана к своему хозяину. Эту свою привязанность он не мог выразить, проявить, он просто не знал, как это делается, поэтому выражалась она только два раза в месяц, когда давали аванс и зарплату, и он возвращался домой с пьяной улыбкой, мутным взглядом и подарками, за которые жена его ругала из-за пустой траты денег.

На работе Дмитрия тоже никто не замечал тогда, когда дело не касалось сабантуя. Годы шли, а он всё так же за общим столом на обеде сидел, молча глядя к себе в тарелку, с завистью слушая, как у других мужиков так ловко получается непринуждённо и громко болтать. Зависть, как и чувство скованности, практически постоянно преследовала Митьку. Ему всегда казалось, что все вокруг всё делают лучше его, но когда он, пытаясь подражать им, делала так же, у него всё выходило смешно и глупо: попытки уверенно вступить в разговор превращались в невнятное лепетание и запинание, над шутками никто не смеялся, а если и смеялись, то больше над ним, а не вместе с ним. Обида за эти насмешки, зависть, ощущение неполноценности, неумение постоять за себя в нём трезвом, накрученные и приумноженные, выливались во время его всё более затягивающихся с годами запоев в унижение на словах всех, кого он знал, и даже в пьяные драки, точнее избиения тех, с кем, он знал заранее, он точно может справиться.

На середине жизни Дмитрий уже находился в центре зло-

вещего бесконечного замкнутого круга, из которого не было никакой возможности выбраться: чем больше его не замечали и игнорировали, тем больше он страдал трезвый и тем более агрессивным становился в запоях. А чем отвратительней он бывал в своей злобе на весь мир, тем неприязненней к нему становилось общество. В том числе его семья, его дети, выслушивающие во время запоев отца столько мерзкой извращённой нескончаемой грязи о всех, кого они знали, потеряли к нему всякое уважение настолько, что даже не могли называть его «папой», обращаясь к нему просто безликим «ты». Сестра со своей семьёй, которая раньше проводила много времени с ними, после очередной выслушанной пьяной мерзости о себе, перестала совсем приходить к ним в гости и звать их к себе.

Жена и дети продолжали жить с ним в одной квартире, с коллегами и соседями он каждый рабочий день виделся на работе и в подъезде, но в кажущемся окружении десятками людей, Дмитрий жил в окружении нелюбви и презрения, в центре которого стоял, сжавшись в комок, как забитое до смерти животное, абсолютно одинокий и никому не нужный, он. И как единственное утешение, как источник с родниковой водой, которая давала ему возможность жить, была любовь его матери, всепрощающая, оправдывающая, слепая, единственно возможная к нему любовь.

Марья Осиповна лежала на кушетке. Сердце давно ныло, давило, но встать за таблеткой не было сил. Дышать становилось всё тяжелее, а перед глазами продолжали проплывать картины всей её жизни и жизни сына. Воспоминания рождались сами собой, независимо от хода её мыслей. В голове, как заезженная пластинка, постоянно крутилось «не приехал», «не приехал», «не приехал», а озвученные картины продолжали плыть перед глазами, рождаясь, умирая, трансформируясь друг в друга, преобразовываясь, видоизменяясь. Постепенно боль в груди стала уходить на задний план, а кадры воспоминаний становились ярче, интересней так, что захватили всё внимание.

И вот она стоит посреди дороги своего родного посёлка. На улице лето, тепло, пахнет озерной водой, вдалеке мычат коровы. А она стоит и смотрит вдаль, не обращая внимание на солнце, слепящее глаза, а вдоль дороги, на которой она стоит, собирается всё больше и гуще толпа народа, и, как, на параде, все смотрят на неё. Все лица в толпе ей знакомы: здесь и соседи, и коллеги с работы, и их бывший участковый, и муж, и дочь. Каждого в толпе она знает. И вот на горизонте появляется он. Сердце заходится от счастья, она протягивает руки, и Митя, совсем ещё молодой, быстро приближается к ней, берёт её за руку и, улыбаясь, смотрит ей в лицо и го-

ворит ей «мамуша». Толпа, уже уплотнившаяся настолько, что сквозь неё не проступает свет, в молчании смотрит на них, а они идут, взявшись за руки, между чёрными стенами толпы, и каждый шаг, сделанный ими, не только уносит их вперёд, но поднимает всё выше и выше до тех пор, пока они не воспаряют над землёй, над посёлком, над толпой. Каждый новый шаг делать всё легче, и в какой-то момент чувство лёгкости становится настолько сильным, что они парят в воздухе, как в невесомости, взявшись за руки и кружась уже над облаками. И чувство восторга, безграничного счастья от близости сына, от оторванности их от всего, что так тяготило их на земле, охватывает её. И она смеётся так, как смеялась последний раз в детстве, совсем ребёнком, смеётся в голос, громко, захлёбываясь и плача от счастья.

Но, вдруг, воздух под ними закрипел звуком входной двери и мать с сыном рванули вниз. В грудь опять вонзилась резкая боль, в голову мысль «он не приехал», а в душу ощущение полного одиночества. Боль в сердце стала невыносимой, такой, что не хватало дыхания, чтобы её перетерпеть, тело как будто парализовало от боли. Перед глазами пролетели за секунду десятки лиц, картин из жизни, и сознание стало проваливаться в чёрную пучину. Но в тот же момент Марья Осиповна почувствовала, как кто-то тронул её за плечо, и услышала:

– Мама, я приехал.

Сознание влетело в реальный мир, Марья Осиповна быст-

ро открыла глаза, и, увидев в темноте силуэт сына, со стоном выдохнула: «Значит, ещё поживу».